

Тютчев и Козлов (к постановке проблемы)

И. Б. НЕПОМНЯЩИЙ
(ГИМНАЗИЯ №1 г. БРЯНСКА)*

В статье поднимается вопрос о влиянии творчества И. Козлова на становление тютчевской лирики. Воздействие наблюдается на разных уровнях: от проблемно-тематического комплекса до совпадений в лексике и ритмико-синтаксических ходах.

Ключевые слова: Козлов, Тютчев, цитата, реминисценция, «денисьевский» цикл.

Tyutchev and Kozlov (To Problem Definition)

I. B. NEPOMNIASHCHIY
(GYMNASIUM No. 1 OF BRYANSK CITY)

The article raises the question of Ivan Kozlov's influence on Tyutchev's lyrical poetry, which occurs on different levels, beginning with the ideological and thematic complex up to the lexical, rhythmical and syntactical coincidences.

Keywords: Kozlov, Tyutchev, citation, reminiscence, the «Denisieva» cycle.

Вопрос о связях творчества Тютчева с поэзией Ивана Козлова практически не ставился в специальной литературе. Замечания об этих связях немногочисленны и несистемны. Конечно же, соотносённость лирики Тютчева с творчеством Пушкина и Жуковского, Вяземского и Фета куда более очевидна и важна. Перечень работ, посвященных данной проблематике, с трудом поддается обзору. Наиболее значимые из них, на наш взгляд, следующие: фундаментальные статьи Ю. Н. Тынянова, Б. М. Эйхенбаума, Н. Я. Берковского, Б. Я. Бухштаба, В. Н. Касаткиной, Ю. М. Лотмана; весьма ценные замечания и наблюдения содержатся в работах К. В. Пигарева, Л. А. Озерова, М. Ю. Подгаецкой, Б. М. Козырева и многих других.

Между тем есть реальные основания и для постановки самостоятельной проблемы «Тютчев и Козлов». Поэты были лично знакомы (с 1830 г.), упоминание о Ф. И. Тютчеве есть в дневниках И. И. Козлова; с его дочерью, Александрой Ивановной, Тютчев дружески общался и состоял в переписке на протяжении многих лет. Добавим к этому,

что списки отдельных стихотворений Козлова хранились в тютчевском архиве (Литературное наследство, 1989: 658). Кроме того, многолетнее знакомство и дружба с В. А. Жуковским и Л. А. Вяземским — людьми, Козлову близкими, также должны были способствовать формированию дополнительного интереса Тютчева к личности и творчеству автора «Чернеца».

В. Сахаров, исследователь лирики Козлова, в предисловии к собранию его стихотворений подчеркивает: «...современники ценили в творчестве поэта именно полное выражение его собственной души, подчиняющее себе, своей логике жизненный и литературный материал. В свою очередь рождающиеся в стихотворениях Козлова самобытные образы наследуются русскими поэтами, и прежде всего Лермонтовым (достаточно сравнить образы «Чернеца» и «Мцыри»). Образ «День вечерел» перешел к Тютчеву, «Сердце цветет» — к Фету, «Жар души» — к Пушкину и т. д. (цит. по: Козлов, 1979: 13). Подробнее о возможном влиянии лирики Козлова на Тютчева сказано в более позд-

* Непомнящий Игорь Борисович — кандидат филологических наук, учитель русского языка и литературы гимназии № 1 г. Брянска. Тел.: +7 (4832) 63-13-86. Эл. адрес: nib-znak@yandex.ru

ней работе того же автора: «...образы Козлова наследует другой его читатель и посетитель (помимо ранее упомянутого Лермонтова. — И. Н.), о котором в дневнике поэта сказано: «Пришел интересный и любезнейший Тютчев» (Сахаров, 1984: 77).

Между тем вопрос о причинах, пусть и ограниченного, воздействия Козлова на современную ему русскую лирику отнюдь не элементарен. По-видимому, самый факт того, что образы этого автора используются столь разными поэтами середины XIX в., как Лермонтов и Фет, не в последнюю очередь объясняется присущей творчеству Козлова эклектикой. Здесь легко обнаружить сочетание разнородных стилистических элементов, характеризующих предпушкинский и собственно пушкинский периоды в развитии русской поэзии. Чаще всего в этой связи упоминают Жуковского, чье влияние на Козлова действительно было исключительным. Но уже и в самых первых лирических опытах Козлова легко находимы совпадения с молодым Пушкиным (например, в стихотворении «К Светлане»). В отдельных текстах вполне рельефны следы державинской поэтики. Достаточно привести следующие строки из стихотворения «Бейрон» (1824): «Он смотрит, он внемлет, как вихри свистят, / Как молнии бьются, как грома гремят / И с гулом в горах умирают», — чтобы без труда различить в них отголоски по-державински напряженной фонетики. Есть в наследии Козлова и строки, восходящие к батюшковской «легкой поэзии» (например, стихотворение «Венецианская ночь») и т. д.

Но по самой природе эклектическая структура, характеризующая как отдельные произведения, так и мир козловской лирики в целом, — структура несомкнутая, рыхлая, ослабленная, создающая условия для многочисленных заимствований. Она, легко принимая в себя чужие элементы из разных стилистических запасников, не менее легко и отдает их.

Перечень примеров тесного знакомства Тютчева с творчеством старшего поэта до-

вольно широк. Между поэтами немало частных пересечений, переключек. Эти переключки касаются и тем, и проблематики, и мотивной сферы; в ряде случаев совпадают ритмико-синтаксические ходы и даже отдельные тропы. Это может быть объяснено, конечно, и общей романтической почвой, которая питала творческие интуиции как Козлова, так и Тютчева. Но нам представляется, что связи между ними носят не только типологический, но и контактный характер. Например, яркая тютчевская метафора «синей молнии струя» (ст. «Неохотно и несмело...», 1849) уже встречается в одном из лучших стихотворений Козлова «Стансы» (1838), причем в родственном «грозовом» контексте: «Меж тем в эфирной тьме сбиралась / Гроза, — из туч сверкнул огонь, / И молния струей промчалась, / Как буйный бледногривый конь». Не менее близки по метрико-мелодическим свойствам и словарю строки из «Венецианской ночи» (1825) Козлова и тютчевской строфой 1852 г. В первом случае «Свод лазурный, томный ропот / Чуть дробимья волны, / Померанцев, миртов шепот / И любовный свет луны...»; во втором — «Сладок мне твой тихий шепот, / Полный ласки и любви; / Вянут мне и буйный ропот, / Стоны вещи твои» («Ты, волна моя морская...»). Вполне справедлива и отмеченная В. Сахаровым параллель между поздним стихотворением Тютчева «Ю. Ф. Абазе» и пьесой Козлова 1830 г. «К певице Зонтаг». Однако отмеченные переключки, как говорится, лишь надводная часть айсберга; список их куда распространнее.

Кажется, что строки из козловского послания «К другу В<асилию> А<ндреевичу> Ж<уковскому> по возвращении его из путешествия» (1822) дважды отзываются в тютчевской лирике. В первый раз — в тексте рубежа 40–50-х годов «Святая ночь на небосклон взошла...» Вот Козлов: «Когда же я в себе самом, / Как в бездне мрачной погружаюсь, — / Каким волшебным я щитом / От черных дум обороняюсь!» А вот — программные строки Тютчева: «На самого себя

покинут он — / Упразднен ум и мысль осиротела. / В душе своей, как в бездне, погружен, / И нет извне опоры, ни предела...» Здесь не только красноречивое совпадение в лексико-грамматическом строе и образах: в тексте 1822 г. уже была обозначена та грандиозная проблема трагического бытия Личности, столкнувшейся лицом к лицу с бездной мировой жизни и осознавшей бездну в себе самой, которая станет одной из фундаментальных для поэзии Тютчева в целом. В обоих произведениях мотив бездны (бездонности) внутреннего мира соседствует с иным традиционно-романтическим мотивом хотя и прекрасного, но невозвратимого сна. В послании: «О, для чего ж в столь сладком сне / Нельзя мне вечно позабыться! / И для чего же должно мне / Опять на горе пробудиться!» В философском этюде Тютчева: «И чудится давно минувшим сном / Ему теперь все светлое, живое, / И в чуждом, неразгаданном, ночном / Он узнает наследье родовое». (Кстати сказать, весьма близкое с тютчевским финалом обнаружится и в послании: «И то, что есть, казалось мне / Давно минувшею мечтою»).

Отзвук стихотворения Козлова слышится и в тютчевской пьесе «Не рассуждай, не хлопочи!..» (1850), финальные ее строки: «Чего желать? О чем тужить? День пережит — и слава богу!» Проблема «пережитой жизни», типичная уже для раннего Тютчева («Бессонница», «Как птичка раннею зарей...»), после обрушившейся слепоты занимает заметное место и в центральной части послания Козлова к Жуковскому, причем в сходном словесном оформлении:

Но как навек всего лишиться?
Как мир прелестный позабыть?
Как не желать, как не тужить?
Живому с жизнью как проститься?

На фоне этих вопросов тютчевский финал выглядит как полемически заостренная реакция на когда-то сказанное предшественником.

Тютчева с Козловым объединяет и особому доверительная, дневниковая интонация — результат добросовестного усвоения опыта Жуковского. Ощущение достоверности и выстраданности слова поэта отмечалось многими современниками. Так, А. Григорьев писал о стихах Козлова: «Перед нами лежат стихотворения поэта, которые именно были пережиты многими» (цит. по: Сахаров, 2006: 52). Показательно близка григорьевской оценке Козлова точка зрения Тургенева, высказанная в статье о Тютчеве: «...в нем одном замечается та соразмерность таланта с самим собою, та ответственность его с жизнью автора, — словом, хотя часть того, что в полном развитии своем составляет отличительные признаки великих дарований» (Тургенев, 1981: 103–104).

Внимание Тютчева, скорее всего, было сосредоточено на отдельных, конкретных произведениях Козлова, наиболее близких по духу и художественно совершенных. Одно из них — «Воспоминание 14-го февраля». Оно посвящено памяти А. Воейковой и датируется началом 30-х годов. Вот его начало:

Сегодня год, далеко там, где веет
Душистый пар от Средиземных волн,
Где свежий мрак по их зыбям лелеет
Любви молодой дрожащий, легкий челн <...>
Далеко там она с себя сложила
Судьбы земной печаль, ярмо и страх;
Тяжелый крест прекрасная носила,
Цветы любя, с улыбкой на устах...

В первую очередь этот фрагмент воспринимается как прямой предшественник тютчевской пьесы 1865 г. «Сегодня, друг, пятнадцать лет минуло...» Сближение не только в подобию зачинов, подчеркнутым и началом второго тютчевского четверостишия: «И вот уж год, без жалоб, без упреку...» Сама тема — воспоминание об умершей в годовщину ее смерти — роднит эти произведения. Если гипотеза о важности для Тютчева середины 60-х годов строк Козлова

правомочна, то в качестве соотнесенного с «Воспоминанием 14-го февраля» можно рассматривать и финал трагедийного «денисьевского» монолога 1864 г. «Утихла биза... Легче дышит...»:

Здесь сердце так бы все забыло,
Забыло б муку всю свою,
Когда бы там — в родном краю —
Одной могилой меньше было...

В «Воспоминании» — мотив родственный: «И нет ее, — и над ее могилой / Трава и дерн лишь смочены росой <...> Бесценный прах и сердцу вечно милый / Как бы один лежит в земле чужой, / И плачу я, и дух мой сокрушенный / Тоска влечет к могиле незабвенной». Другое дело, что Тютчев предлагает очевидную пространственную инверсию: у Козлова — «незабвенная» могила в Италии, именно в той «земле чужой», где была похоронена не только Воейкова, но и Элеонора Ботмер. В тютчевской же пьесе ситуация обратная: последний приют Денисьевой — на Волковом кладбище в Петербурге, «в родном краю», а память о ней преследует поэта как раз на чужбине, «на берегу Женевских вод».

Однако не только в тютчевских стихах 60-х годов отзывается реквием Козлова, но и в истоке «денисьевского» цикла — в миниатюре «На Неве»:

В легкой зыби невских волн,
И опять любовь вверяет
Ей таинственный свой челн.

Сравним с козловским: «...Где свежий мрак по их зыбям лелеет / Любви молодой дрожащий легкий челн...» Конечно же, обе цитаты укоренены в лирической фразеологии и сюжетах романтизма, и тем не менее выразительно сходство в лексике и самой лирической ситуации, которую эта лексика обслуживает.

В творчестве Козлова были намечены многие из главных тютчевских тем, прежде всего темы отчаянной борьбы человека с

беспощадной судьбой, одоления смертельной тоски индивидуального существования, бессилия слова. Вполне «по-тютчевски» звучат, например, следующие строки Козлова из его послания 1832 года «Графу М. Виельгорскому»:

Когда же вьелончель твой дивный,
То полный неги, то унывный,
Пробудит силою своей
Те звуки тайные страстей,
Которые в душе, крушимой
Упорной, долгою тоской,
Как томный стон волны дробимой,
Как ветра шум в глуши степной?
В них странные очарованья, —
Но им, поверь, им нет названья;
Их ропот, сердцу дорогой,
Таит от нас язык земной.

Нет нужды подробно аргументировать, насколько близок пафос этих строк известнейшим тютчевским текстам («Два голоса», «О, как убийственно мы любим...» и т. п.).

В свете высказанных наблюдений естественно предположить особенное внимание Тютчева к центральному произведению в творчестве Козлова — поэме «Чернец». Поэма была опубликована в 1825 г. с предисловием В. А. Жуковского и получила колоссальный резонанс как в читательских, так и в собственно литературных кругах. «Чернец» полон чувства, насквозь проникнут чувством — и вот причина его огромного, хотя и мгновенного успеха», — писал позднее В. Г. Белинский (Белинский, 1954: 70). В поэме Козлова были едва ли не с хрестоматийной ясностью и последовательностью воплощены основные характеристики романтической поэмы первой трети XIX в.: острота и динамизм конфликта, трагическая исключительность судьбы главного героя, пунктирность сюжета, исповедальность тона, наконец, самим автором провозглашенная связь (почти самоотожествление) с центральной фигурой. Уже во вступлении Козлов писал:

Как мой Чернец, все страсти молодые
В груди моей давно я схоронил;
И я, как он, все радости земные
Небесною надеждой заменил.

В. Сахаров пишет по этому поводу: «Поэма Козлова воспринималась большинством современников именно как развернутая сюжетная элегия» (Сахаров, 1984: 77). Мы полагаем, что в числе этого «большинства», обратившего внимание прежде всего на *лирическую* основу «Чернеца», был и Тютчев. Судя по всему, он познакомился с поэмой еще в 1825 г., когда находился, с лета по конец декабря, в отпуске на родине. Если вопрос о воздействии «Чернеца» на лермонтовское творчество достаточно освещен в исследовательской литературе, то реакции на поэму Козлова в тютчевской лирике практически не исследованы.

Особенно важен для Тютчева оказался опыт Козлова в 50–60-е годы, и именно в связи с «денисьевским» циклом. Более чем вероятно оглядка на козловские «Стансы» (1834) в концовке потрясающего тютчевского монолога-воспоминания 1865 г. «Есть и в моем страдальческом застое...» Вот более ранний текст:

О жизнь! теки: не страшен мрак могилы
Тому, кто здесь молился и страдал,
Кто, против бед стремя душевны силы,
Не смел роптать, любил и уповал.

А вот текст, написанный двумя десятилетиями позднее:

...По ней, по ней, свой подвиг совершившей
Весь до конца в отчаянной борьбе,
Так пламенно, так горячо любившей
Наперекор и людям и судьбе, —

По ней, по ней, судьбы не одолевшей,
Но и себя не давшей победить,
По ней, по ней, так до конца умевшей
Страдать, молиться, верить и любить.

И тема, и метрический рисунок (пятистопный ямб), и словарь, где совпадают по

существу все элементы рядов: молился — страдал — любил — уповал (Козлов) и страдать — молиться — верить — любить (Тютчев), и место в структуре целого (итоговое обобщение), и — главное — сам пафос утверждения жизни как подвига стойкости в отчаянной борьбе с судьбой — все доказывает неслучайность предложенной параллели. У Тютчева были и дополнительные основания по-особенному внимательно относиться к «Стансам» 1834 г. В символах этого стихотворения явно просматривается связь с предисловием Жуковского, предпосланным первому изданию «Чернеца». Жуковский писал: «Несчастье... можно сравнить с великаном, имеющим голову светозарную и ноги свинцовые. Кто сам высок, или кто может возвыситься, чтобы посмотреть прямо в лицо сему ужасному посланнику провидения, — тот озарится его блеском, и собственное лицо его просветлеет; но тот, кто низок, или кто, ужаснувшись ослепительного света, наклонит голову, чтобы его не видеть, — тот попадет под свинцовые ноги страшилища и будет ими раздавлен или затоптан в прах» (цит. по: Козлов, 1979: 172). Центральные строфы «Стансов», как известно, содержат парафраз этого фрагмента:

Оно — гигант, кругом себя бросая
Повсюду страх, и ноги из свинца,
Но ярче звезд горит глава золотая
И дивный блеск от светлого лица.

Подавлен тот свинцовыми ногами,
Пред грозным кто от ужаса падет,
Но, озарен, блестит его огнями,
Кто смело взор на призраке возведет.

Нет надобности специально оговаривать, насколько важны для Тютчева эти настроения по меньшей мере с конца 30-х годов, тем паче — в середине 60-х. В тютчевской пьесе 1865 года имеется еще одно место, напоминающее уже непосредственно о «Чернеце». В концовке восьмой главы поэмы читаем: «И горе было наслажденьем, / Святым остатком

прежних дней; / Казалось мне, моим мученьем / Я не совсем расстался с ней». Думается, эта строфа из исповеди Чернеца — непосредственный литературный предшественник — и в теме, и в образе, и в остроте психологического решения — пронзительных строк из тютчевской молитвы:

...Ты взял ее, но муку вспоминанья,
Живую муку мне оставь по ней...

Между тем не только поздние фрагменты «денисьевского» цикла отмечены влиянием поэмы Козлова, но и его зачин. Пятая глава «Чернеца» завершается стихами:

Сбылось в ней мое мечтанье,
Весь тайный мир души моей, —
И я, любви ее созданье,
И я воскрес любовью к ней.

Эта строфа и темой, и просодией, и рифмовкой, и лексическим составом чрезвычайно напоминает первый катрен тютчевской пьесы 1851 г. «Не раз ты слышала признание...»:

Не раз ты слышала признание:
«Не стою я любви твоей».
Пушкой мое она созданье —
Но как я беден перед ней...

Третий стих Тютчева вообще кажется зеркальным отражением третьего же стиха в четверостишии Козлова. Впрочем, перед нами — именно «зеркало»: Тютчев, обращаясь к тексту предшественника, по-своему «цитируя» его, одновременно решительно меняет смысл «цитаты». У Козлова герой ощущает себя «созданием», т. е. результатом прекрасной и жертвенной любви безымянной героини; у Тютчева, напротив, имен-

но он, «герой», осознает себя создателем, творцом всепоглощающего женского чувства, демиургическая инициатива принадлежит именно ему, а не ей. (В этом плане крайне показательна форма обращения Денисьевой к Тютчеву: «Мой Божинька».) По воспоминаниям А. И. Георгиевского, увлечение Тютчева Денисьевой «вызвало с ее стороны такую глубокую, такую самоотверженную, такую страстную и энергичную любовь, что она охватила и все его существо...» (Литературное наследство, 1989: 108).

Так, в рамках стихотворения «Не раз ты слышала признание...» формируется структура, в которой отчетлив мотив одной из наиболее заметных романтических поэм начала 20-х годов XIX в. — «Чернеца». Отсылка к этой поэме актуализировала специфические античные ассоциации, ибо в самом сжатом виде воспроизводила в сознании читателя ситуацию мифа о Пигмалионе и Галатее. Роль этого мифа в становлении «денисьевского» цикла представляет собой самостоятельный исследовательский сюжет и заслуживает отдельного разговора.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Белинский, В. Г. (1954) Полн. собр. соч. Т. 5. М.
- Козлов, И. (1979) Стихотворения. М. : Советская Россия.
- Литературное наследство. (1989). Т. 97. Кн. 2. М. : Наука.
- Сахаров, В. (1984) Под сенью дружных муз. О русских писателях-романтиках. М. : Художественная литература.
- Сахаров, В. (2006) Русский романтизм XIX века. Лирика и лирики : пособие для студентов-филологов и учителей литературы. М. : Русское слово.
- Тургенев, И. С. (1981) Статьи и воспоминания. М. : Современник.